

---

Малое  
собрание  
сочинений

---

# Трумен КАПОТЕ

---

Малое  
собрание  
сочинений

---



Санкт-Петербург



Завтрак у Тиффани



Меня всегда тянет к тем местам, где я когда-то жил, к домам, к улицам. Есть, например, большой темный дом на одной из семидесятих улиц Ист-Сайда, в нем я поселился в начале войны, впервые приехав в Нью-Йорк. Там у меня была комната, заставленная всякой рухлядью: диваном, пузатыми креслами, обитыми шершавым красным плюшем, при виде которого вспоминаешь душный день в мягком вагоне. Стены были выкрашены клеевой краской в цвет табачной жвачки. Повсюду, даже в ванной, висели гравюры с римскими развалинами, конопатые от старости. Единственное окно выходило на пожарную лестницу. Но все равно, стоило мне нащупать в кармане ключ, как на душе у меня становилось веселее: жилье это, при всей его унылости, было моим первым собственным жильем, там стояли мои книги, стаканы с карандашами, которые можно было чинить, — словом, все, как мне казалось, чтобы сделаться писателем.

В те дни мне и в голову не приходило писать о Холли Голайтли, не пришло бы, наверно, и теперь, если бы не разговор с Джо Беллом, который снова расшевелил мои воспоминания.

Холли Голайтли жила в том же доме, она снимала квартиру подо мной. А Джо Белл держал бар за углом, на Лексингтон-авеню; он и теперь его держит. И Холли, и я заходили туда раз по шесть, по семь на дню не затем, чтобы выпить, — не только за этим, — а чтобы позвонить по телефону: во время войны трудно было поставить себе телефон.

К тому же Джо Белл охотно выполнял поручения, а это было обременительно: у Холли их всегда находилось великое множество.

Конечно, все это давняя история, и до прошлой недели я не виделся с Джо Беллом несколько лет. Время от времени мы созванивались; иногда, оказавшись поблизости, я заходил к нему в бар, но приятелями мы никогда не были, и связывала нас только дружба с Холли Голайтли. Джо Белл — человек нелегкий, он это сам признает и объясняет тем, что он холостяк и что у него повышенная кислотность. Всякий, кто его знает, скажет вам, что общаться с ним трудно. Просто невозможно, если вы не разделяете его привязанностей, а Холли — одна из них. Среди прочих — хоккей, веймарские охотничьи собаки, «Наша детка Воскресенье» (передача, которую он слушает пятнадцать лет) и Гилберт и Салливан<sup>1</sup> — он утверждает, будто кто-то из них ему родственник, не помню, кто именно.

Поэтому, когда в прошлый вторник, ближе к вечеру, зазвонил телефон и послышалось: «Говорит Джо Белл», я сразу понял, что речь пойдет о Холли. Но он сказал только: «Можете ко мне заскочить? Дело важное», и квакающий голос в трубке был сиплым от волнения.

Под проливным дождем я поймал такси и по дороге даже подумал: а вдруг она здесь, вдруг я снова увижу Холли?

Но там не было никого, кроме хозяина. Бар Джо Белла не очень людное место по сравнению с другими пивными на Лексингтон-авеню. Он не может похвастаться ни неоновой вывеской ни телевизором. В двух старых зеркалах видно, какая на улице погода, а позади стойки, в нише, среди фотографий хоккейных звезд, всегда стоит большая ваза со свежим букетом — их любовно составляет сам Джо Белл. Этим он и занимался, когда я вошел.

---

<sup>1</sup> Уильям Гилберт (1836–1917) — английский поэт и драматург. Артур Салливан (1842–1900) — английский композитор. Авторы популярных комических опер. — *Здесь и далее примеч. перев.*

— Сами понимаете, — сказал он, опуская в воду гладиолус, — сами понимаете, я не заставил бы вас тащиться в такую даль, но мне нужно знать ваше мнение. Странная история! Очень странная приключилась история.

— Вести от Холли?

Он потрогал листок, словно раздумывая, что ответить. Невысокий, с жесткими седыми волосами, выступающей челюстью и костлявым лицом, которое подошло бы человеку много выше ростом, он всегда казался загорелым, а теперь покраснел еще больше.

— Нет, не совсем от нее. Вернее, это пока непонятно. Поэтому я и хочу с вами посоветоваться. Давайте я вам налью. Это новый коктейль, «Белый ангел», — сказал он, смешивая пополам водку и джин, без вермута.

Пока я пил этот состав, Джо Белл стоял рядом и сосал желудочную таблетку, прикидывая, что он мне скажет. Наконец сказал:

— Помните такого мистера И. Я. Юниоши? Господинчика из Японии?

— Из Калифорнии.

Мистера Юниоши я помнил прекрасно. Он фотограф в иллюстрированном журнале и в свое время занимал студию на верхнем этаже того дома, где я жил.

— Не путайте меня. Знаете вы, о ком я говорю? Ну и прекрасно. Так вот, вчера вечером заявляется сюда этот самый мистер И. Я. Юниоши и подкатывается к стойке. Я его не видел, наверно, больше двух лет. И где, по-вашему, он пропадал все это время?

— В Африке.

Джо Белл перестал сосать таблетку, и глаза его сузились.

— А вы почему знаете?

— Прочел у Уинчелла<sup>1</sup>. — Так оно и было на самом деле. Он с треском выдвинул ящик кассы и достал конверт из толстой бумаги.

---

<sup>1</sup> Уолтер Уинчелл (1897–1972) — американский журналист.



— Может, вы и это прочли у Уинчелла?

В конверте было три фотографии, более или менее одинаковые, хотя и снятые с разных точек: высокий, стройный негр, в ситцевой юбке с застенчивой и вместе с тем самодовольной улыбкой, показывал странную деревянную скульптуру — удлинённую голову девушки с короткими, приглаженными, как у мальчишки, волосами и сужающимся книзу лицом; ее полированные деревянные, с косым разрезом глаза были необычайно велики, а большой, резко очерченный рот походил на рот клоуна. На первый взгляд скульптура напоминала обычный примитив, но только на первый, потому что это была вылитая Холли Голайтли — если можно так сказать о темном неодушевленном предмете.

— Ну, что вы об этом думаете? — произнес Джо Белл, довольный моим замешательством.

— Похоже на нее.

— Слушайте-ка, — он шлепнул рукой по стойке, — это она и есть. Это ясно как божий день. Японец сразу ее узнал, как только увидел.

— Он ее видел? В Африке?

— Ее? Нет, только скульптуру. А какая разница? Можете сами прочесть, что здесь написано. — И он перевернул одну из фотографий. На обороте была надпись: «Резьба по дереву, племя С, Тококул, Ист-Англия. Рождество, 1956». — Японец вот что говорит... — начал он, и дальше последовала такая история.

На Рождество мистер Юниоши проезжал со своим аппаратом через Тококул, деревню, затерянную неведомо где, да и не важно где, — просто десяток глинобитных хижин с мартышками во дворах и сарычами на крышах. Он решил не останавливаться, но вдруг увидел негра, который сидел на корточках у двери и вырезал на трости обезьян. Мистер Юниоши заинтересовался и попросил показать ему еще что-нибудь. После чего из дома вынесли женскую головку, и ему почудилось — так он сказал Джо Беллу, — что все это

сон. Но когда он захотел ее купить, негр сказал: «Нет». Ни фунт соли и десять долларов, ни два фунта соли, ручные часы и двадцать долларов — ничто не могло его поколебать. Мистер Юниоши решил хотя бы выяснить происхождение этой скульптуры, что стоило ему всей его соли и часов. История была ему изложена на смеси африканского, тарабарского и языка глухонемых. В общем, получалось так, что весной этого года трое белых людей появились из зарослей верхом на лошадях. Молодая женщина и двое мужчин. Мужчины, дрожавшие в ознобе, с воспаленными от лихорадки глазами, были вынуждены провести несколько недель взаперти в отдельной хижине, а женщине понравился резчик, и она стала спать на его циновке.

— Вот в это я не верю, — брезгливо сказал Джо Белл. — Я знаю, у нее всякие бывали причуды, но до этого она бы вряд ли дошла.

— А потом что?

— А потом ничего. — Он пожал плечами. — Ушла, как и пришла, — уехала на лошади.

— Одна или с мужчинами?

Джо Белл моргнул:

— Кажется, с мужчинами. Ну а японец, он повсюду о ней спрашивал. Но никто больше ее не видел. — И, словно испугавшись, что мое разочарование может передаться ему, добавил: — Но одно вы должны признать: сколько уже лет прошло, — он стал считать по пальцам, их не хватило, — а это первые достоверные сведения. Я только надеюсь, что она хотя бы разбогатела. Наверно, разбогатела. Иначе вряд ли будешь разъезжать по Африкам.

— Она, наверно, Африки и в глаза не видела, — сказал я совершенно искренне; но все же я мог себе ее представить в Африке: Африка — это в ее духе. — Да и головка из дерева... — Я опять посмотрел на фотографии.

— Все-то вы знаете. Где же она сейчас?

— Умерла. Или в сумасшедшем доме. Или замужем. Скорей всего, вышла замуж, утихомирилась и, может, живет тут, где-нибудь рядом с нами.



Он задумался.

— Нет, — сказал он и покачал головой. — Я вам скажу почему. Если бы она была тут, я бы ее встретил. Возьмите человека, который любит ходить пешком, человека вроде меня; и вот ходит этот человек по улицам уже десять или двенадцать лет, а сам только и думает, как бы ему не проглядеть кое-кого, и так ни разу ее не встречает, — разве не ясно, что в этом городе она не живет? Я все время вижу женщин, чем-то на нее похожих... То плоский маленький задок... Да любая худая девчонка с прямой спиной, которая ходит быстро... — Он замолчал, словно желая убедиться, внимательно ли я его слушаю. — Думаете, я спятил?

— Просто я не знал, что вы ее любите. Так любите.

Я пожалел о своих словах — они привели его в замешательство. Он сгреб фотографии и сунул в конверт. Я посмотрел на часы. Спешить мне было некуда, но я решил, что лучше уйти.

— Пойдите, — сказал он, схватив меня за руку. — Конечно, я ее любил. Не то чтобы я хотел с ней... — И без улыбки добавил: — Не скажу, чтобы я вообще об этом не думал. Даже и теперь, а мне шестьдесят семь будет десятого января. И что странно: чем дальше, тем больше эти дела у меня на уме. Я помню, даже мальчишкой столько об этом не думал. А теперь — без конца. Наверно, чем старше становишься и чем трудней это дается, тем тяжелее давит на мозги. И каждый раз, когда в газетах пишут, как опозорился какой-нибудь старик, я знаю: все от таких мыслей. Только я себя не опозорю. — Он налил себе виски и, не разбавив, выпил. — Честное слово, о Холли я никогда так не думал. Можно любить и без этого. Тогда человек будет вроде посторонним — посторонним, но другом.

В бар вошли двое, и я решил, что теперь самое время уйти. Джо Белл проводил меня до двери. Он снова схватил меня за руку:

— Верите?

— Что вы о ней так не думали?

— Нет, про Африку.

Тут мне показалось, что я ничего не помню из его рассказа, только как она уезжает на лошади.

— В общем, ее нет.

— Да, — сказал он, открывая дверь. — Нет, и все.

Ливень кончился, от него осталась только водяная пыль в воздухе, и, свернув за угол, я пошел по улице, где стоит мой бывший дом. На этой улице растут деревья, от которых летом на тротуаре лежат прохладные узорчатые тени; но теперь листья были желтые, почти все облетели и, раскиснув от дождя, скользили под ногами. Дом стоит посреди квартала, сразу за церковью, на которой синие башенные часы отбивают время. С тех пор как я там жил, его подновили: нарядная черная дверь заменила прежнюю, с матовым стеклом, а окна украсились изящными серыми ставнями. Все, кого я помню, из дома уехали, кроме мадам Сапфии Спанеллы, охрипшей колоратуры, которая каждый день каталась на роликах в Центральном парке. Я знаю, что она еще там живет, потому что поднялся по лестнице и посмотрел на почтовые ящики. По одному из этих ящиков я и узнал когда-то о существовании Холли Голайтли.

Я прожил в этом доме около недели, прежде чем заметил, что на почтовом ящике квартиры № 2 прикреплена странная карточка, напечатанная красивым строгим шрифтом. Она гласила: «Мисс Холидей Голайтли», и в нижнем углу: «Путешествует». Эта надпись привязалась ко мне, как мотив: «Мисс Холидей Голайтли. Путешествует».

Однажды поздно ночью я проснулся оттого, что мистер Юниоши что-то кричал в пролет лестницы. Он жил на верхнем этаже, и голос его, строгий и сердитый, разносился по всему дому:

— Мисс Голайтли! Я должен протестовать!

Ребячливый, беззаботно-веселый голос ответил снизу:

— Миленький, простите! Я опять потеряла этот дурацкий ключ.

— Пожалуйста, не надо звонить в мой звонок. Пожалуйста, сделайте себе ключ!

— Да я их все время теряю.

— Я работаю, я должен спать, — кричал мистер Юниоши. — А вы все время звоните в мой звонок!

— Миленький вы мой, ну зачем вы сердитесь? Я больше не буду. Пожалуйста, не сердитесь. — Голос приближался, она поднималась по лестнице. — Тогда я, может, дам вам сделать снимки, о которых мы говорили.

К этому времени я уже встал с кровати и на палец приотворил дверь. Слышно было, как молчит мистер Юниоши, — слышно по тому, как изменилось его дыхание.

— Когда?

Девушка засмеялась.

— Когда-нибудь, — ответила она невнятно.

— Буду ждать, — сказал он и закрыл дверь.

Я вышел и облокотился на перила так, чтобы увидеть ее, а самому остаться невидимым. Она еще была на лестнице, но уже поднялась на площадку, и на разноцветные — рыжеватые, соломенные и белые — пряди ее мальчишечьих волос падал лестничный свет. Ночь стояла теплая, почти летняя, и на девушке было узкое легкое черное платье, черные сандалии и жемчужное ожерелье. При всей ее модной худобе от нее веяло здоровьем, мыльной и лимонной свежестью и на щеках темнел деревенский румянец. Рот у нее был большой, нос — вздернутый. Глаза прятались за темными очками. Это было лицо уже не ребенка, но еще и не женщины. Я мог ей дать и шестнадцать, и тридцать лет. Как потом оказалось, ей двух месяцев не хватало до девятнадцати.

Она была не одна. Следом за ней шел мужчина. Его пухлая рука прилипла к ее бедру, и выглядело это непристойно — не с моральной, а с эстетической точки зрения. Это был коротконогий толстяк в полосатом костюме с ватными плечами, напомаженный, красный от искусственного зага-



ра, и в петлице у него торчала полужасохшая гвоздика. Когда они подошли к ее двери, она стала рыться в сумочке, отыскивая ключ и не обращая внимания на то, что его толстые губы присосались к ее затылку. Но, найдя наконец ключ и открыв дверь, она обернулась к нему и приветливо сказала:

— Спасибо, дорогой, что проводили, — вы ангел.

— Эй, детка! — крикнул он, потому что дверь закрывалась перед его носом.

— Да, Гарри?

— Гарри — это другой. Я — Сид. Сид Арбак. Ты же меня любишь.

— Я вас обожаю, мистер Арбак. Спокойной ночи, мистер Арбак.

Мистер Арбак недоуменно глядел на запертую дверь.

— Эй, пусти меня, детка. Ты же меня любишь. Меня все любят. Разве я не заплатил по счету за пятерых твоих друзей, а я их и в глаза раньше не видел! Разве это не дает мне права, чтобы ты меня любила? Ты же меня любишь, детка!

Он постучал сначала тихо, потом громче, потом отступил на несколько шагов и пригнулся, словно собираясь ринуться на дверь и выломать ее. Но вместо этого он ринулся вниз по лестнице, колотя по стене кулаком. Едва он спустился вниз, как дверь ее квартиры приоткрылась и оттуда высунулась голова.

— Мистер Арбак!..

Он повернул назад, и на лице его расплылась улыбка облегчения — ага, она просто его дразнила.

— В другой раз, когда девушке понадобится мелочь для уборной, — она и не собиралась его дразнить, — послушайте моего совета, не давайте ей всего двадцать центов!

Она сдержала свое обещание мистеру Юниоши и, видимо, перестала трогать его звонок, потому что с этого дня начала звонить мне — иногда в два часа ночи, иногда в три,

иногда в четыре; ей было безразлично, когда я вылезу из постели, чтобы нажать кнопку, отпирающую входную дверь. Друзей у меня было мало, и ни один из них не мог приходить так поздно, поэтому я всегда знал, что это она. Но первое время я подходил к своей двери, боясь, что это телеграмма, дурные вести, а мисс Голайтли кричала снизу: «Простите, милый, я забыла ключ».

Мы, конечно, так и не познакомились. Правда, мы часто сталкивались то на лестнице, то на улице, но казалось, она меня не замечает. Она всегда была в темных очках, всегда подтянута, просто и со вкусом одета; глухие серые и голубые тона оттеняли ее броскую внешность. Ее можно было принять за манекенщицу или молодую актрису, но по ее образу жизни было ясно, что ни для того, ни для другого у нее нет времени.

Иногда я встречал ее и вдали от дома. Однажды приезжий родственник пригласил меня в «21», и там, за лучшим столиком, в окружении четырех мужчин — среди них не было мистера Арбака, хотя любой из них мог бы за него сойти, — сидела мисс Голайтли и лениво, на глазах у всех причесывалась; выражение ее лица, еле сдерживаемый зевок умерили и мое почтение к этому шикарному месту. В другой раз, вечером, в разгар лета, жара выгнала меня из дому. По Третьей авеню я дошел до Пятьдесят первой улицы, где в витрине антикварного магазина стоял предмет моих вожделений — птичья клетка в виде мечети с минаретами и бамбуковыми комнатками, пустовавшими в ожидании говорливых жильцов — попугаев. Но цена ей была триста пятьдесят долларов. По дороге домой, перед баром Кларка, я увидел целую толпу таксистов, собравшуюся вокруг веселой хмельной компании австралийских офицеров, которые распевали «Вальс Матильды». Австралийцы кружились по очереди с девушкой, и девушка эта — кто же, как не мисс Голайтли! — порхала по булыжнику под сенью надземки, легкая, как шаль.



Но если она о моем существовании не подозревала и воспринимала меня разве что в качестве швейцара, то я за лето узнал о ней почти все. Мусорная корзина у ее двери сообщила мне, что чтение мисс Голайтли составляют бульварные газеты, туристские проспекты и гороскопы, что курит она любительские сигареты «Пикиюн», питается сыром и поджаренными хлебцами и что пестрота ее волос — дело ее собственных рук. Тот же источник открыл мне, что она пачками получает письма из армии. Они всегда были разорваны на полоски вроде книжных закладок. Проходя мимо, я иногда выдергивал себе такую закладку. «Помнишь», «скучаю по тебе», «дождь», «пожалуйста, пиши», «сволочной», «проклятый» — эти слова встречались чаще всего на обрывках и еще — «одинок» и «люблю».

Она играла на гитаре и держала кошку. В солнечные дни, вымыв голову, она выходила вместе с этим рыжим тигровым котом, садилась на площадку пожарной лестницы и брэнчала на гитаре, пока не просохнут волосы. Услышав музыку, я потихоньку становился у окна. Играла она очень хорошо, а иногда пела. Пела хриплым, ломким, как у подростка, голосом. Она знала все ходовые песни: Кола Портера, Курта Вайля и особенно любила мелодии из «Оклахомы», которые тем летом пелись повсюду. Но порой я слышал такие песни, что поневоле спрашивал себя, откуда она их знает, из каких краев она родом. Грубовато-нежные песни, слова которых отдавали прериями и сосновыми лесами. Одна была такая: «Эх, хоть раз при жизни, да не во сне, по лугам по райским погулять бы мне», — и эта, наверно, нравилась ей больше всех, потому что, бывало, волосы ее давно высохнут, солнце спрячется, зажгутся в сумерках окна, а она все поет ее и поет.

Однако знакомство наше состоялось только в сентябре, в один из тех вечеров, когда впервые потянуло пронзительным осенним холодком. Я был в кино, вернулся домой и залез в постель, прихватив стаканчик с виски и последний

роман Сименона. Все это как нельзя лучше отвечало моим представлениям об уюте, и тем не менее я испытывал непонятное беспокойство. Постепенно оно до того усилилось, что я стал слышать удары собственного сердца. О таком ощущении я читал, писал, но никогда его прежде не испытывал. Ощущение, что за тобой наблюдают. Что в комнате кто-то есть. И вдруг — стук в окно, что-то призрачно-серое за стеклом, — я пролил виски. Прошло еще несколько секунд, прежде чем я решился открыть окно и спросить у мисс Голайтли, чего она хочет.

— У меня там жуткий человек, — сказала она, ставя ногу на подоконник. — Нет, трезвый он очень мил, но стоит ему налакаться — *bon Dieu*<sup>1</sup> — какая скотина! Не выношу, когда мужик кусается. — Она спустила серый фланелевый халат с плеча и показала мне, что бывает, когда мужчина кусается. Кроме халата, на ней ничего не было. — Извините, если и вас напугала. Этот скот мне до того надоел, что я просто вылезла в окно. Он думает, наверно, что я в ванной, да наплевать мне, что он думает, ну его к свиньям, устанет — завалится спать, поди не завались: до обеда восемь martinis, а потом еще вино — хватило бы слона выкупать. Слушайте, можете меня выгнать, если вам хочется. Это наглость с моей стороны — вваливаться без спросу. Но там, на лестнице, адский холод. А вы так уютно устроились. Как мой брат Фред. Мы всегда спали вчетвером, но когда ночью бывало холодно, он один позволял прижиматься. Кстати, можно вас звать Фредом?

Теперь она окончательно вошла в комнату — стояла у окна и глядела на меня. Раньше я ее не видел без темных очков, и теперь мне стало ясно, что они с диоптриями: глаза смотрели с прищуром, как у ювелира-оценщика. Глаза были огромные, зеленовато-голубые, с коричневой искоркой — разноцветные, как и волосы, и, так же как волосы, излучали ласковый, теплый свет.

---

<sup>1</sup> Боже мой (*фр.*).